



## РАЙНХОЛЬД ФОН ВАЛЬТЕР

### Россия и ее поэты

В России, когда встречаются на улице кого-то из друзей или знакомых, обычно протягивают друг другу руки без перчаток. Западный европеец порой улыбнется при виде того, с какой поспешностью стягивают в таких случаях перчатку с пальцев. Что означает такой обычай? Вероятно, за ним скрывается страх перед тем, как бы безжизненная оболочка не обесценила ту теплую, непосредственную жизнь, которую один должен сообщить другому. Многие из европейцев желали бы — в переносном смысле — ухватить живую, голую русскую руку. Однако сами они облачали свои руки в перчатки, по крайней мере бархатные перчатки, но часто и более плотные, а потому чувствовали при прикосновении только дубленую кожу, а то и холодное железо. Лишь тот сможет понять русскую натуру, кто выйдет навстречу непосредственной жизни, свободно льющейся с русской стороны, с тою же непосредственностью и свободой.

Отличительным свойством русской духовности является стремление узнать жизнь без всяких «оболочек», в той первоизданности, какая только возможна, — дойти до грани полнейшего отрицания и глубокого, благоговейного молчания. Такому желанию способствует сама природа этой бесконечно огромной, бесконечно богатой и бесконечно нищей страны. Народный русский эпос, сказки, былины — всё овеяно духом первоизданности, пряным запахом бескрайних степей, непроницаемым одиночеством темных и жутких лесов, сырым туманом могучих рек. Природа до такой степени мистична, до такой степени заполняет собою пространство, что человек — оказавшись посреди всей этой полноты жизни — в ошеломлении едва осмеливается вступить во владение своей собственной страной.

Подобно глухому землетрясению проходит по русской земле богатырь-крестьянин Илья Муромец, герой первоизданной седой

старины, побивая тьмы врагов. Да и все русские герои, кажется, выросли, восстали из вывороченных глыб распаханной земли, от которой подымается пар.

Русское христианство тоже отмечено волей к воскресению, к освобождению от земной тяжести. Пасха — вот действительный, великий праздник всего русского церковного года, в то время как для западного христианина в центре набожного почитания стоит воплощение Христа в человеческий образ и, конечно, страсти Господни.

Блестящая эпоха великих князей киевских была коротка. Землю заполонили татарские орды. Достоевский говорит о том времени: «Народу тогда ничего не оставалось, кроме как молиться: Господи сил, с нами буди!» И это очень важно. Тогда-то и начали вырисовываться контуры настоящего.

Долго тянутся времена ига, вплоть до XVI века. Москва собирает текучие, неоформленные массы — в единство. Мы внимаем рассказам о кровавых деспотах, об Иване Грозном, о сумрачном Борисе Годунове, о Лжедмитрии, которому Шиллер позже воздвиг свой памятник. К 1600 году царство представляет собой огромную грудку развалин — так, словно то пространство, которое надлежало охватить, оказалось чересчур колоссальным, чтобы сохранить единство. Но народ встает опять, собирается с силами. Около 1700 года Петр Великий осуществляет то, что подготовляло столетие до него: хочет уподобить Русь Западной Европе. <...> Проторить дорогу на Запад было необходимо. Русская духовная жизнь сделалась в XIX столетии одной из великих мировых сил. Это смогло стать реальностью только тогда, когда русская духовность. — сколь бы ни продолжала она при этом корениться в первоэлементах собственной народности — пробудилась к сознательной, самостоятельной жизни, то есть когда она почувствовала универсальное стремление к миру как целому, к целому человечеству, а прежде всего — к человеку. То, что было усвоено Россией от европейской цивилизации, оказало на нее, скорее, стесняющее воздействие. Зато зрелое содержание западной культуры стало, пожалуй, одной из движущих сил и для России. Германии принадлежала в этом деле не последняя роль. То, что было перенято у Запада, преломилось сквозь русскую призму — и возвысилось до универсальной значимости. Глупо было бы не замечать, что Восток вернул Западу, в многократно умноженной мере, ту жизненную полноту, какую он прежде у него позаимствовал; на протяжении последних десятилетий Запад ничего больше не сумел дать Востоку.

Александр Пушкин — первый из русских поэтов, наделенный ярко выраженным стремлением к универсальности. Достоевский говорит, что Пушкину более, чем всем другим поэтам, была присуща способность полностью переноситься в дух чужой нации. Он же указывает на всечеловечность его гения. И в том заключается намек, в высшей степени значимый для русского человека вообще.

Пушкин — первый русский поэт, пришедший в соприкосновение с народным духом. Никакой другой народ не жаждал с большей силой активного переживания молчания, покинутости, абсолютного отказа и смерти, чем жаждут этого русские. Причем несправедлив был бы упрек, будто тем самым ослабляется привязанность человека к жизни. Напротив. Только перед лицом смерти жизнь впервые обнаруживает себя как могучая реальность. В том-то и заключается ключ к загадке русской природы, и крайне прискорбным, настораживающим знаком является то, что Западная Европа совершенно утратила этот мотив смерти. В России сегодня, возможно, совершаются самые чудовищные вещи, однако совершаются они во имя воскресения. И Пушкин, благодатно гармонический поэт, знал о том, насколько страшна жизнь.

Знал это также и Лермонтов, этот исполненный уныния, но никогда не впадающий в сентиментальность поэт разочарования, отчаяния в жизни. Он не менее народен, чем Пушкин, а возможно, даже более народен — в своем желании освободиться от земной тяжести, взмыть в небеса.

Ужас жизни был известен также Гоголю, малороссийскому сатирику. Пауль Виглер справедливо замечает: «С Гоголя начинается для русской прозы возраст мужества; тяжкими, мощными движениями освобождался он от юношеской избыточности чувств и излишней». Его взор с небывалой остротой видел то угрожающее, что таится в необъятных вольных просторах его отечества. Величественное пространство захватывает его как нечто ужасающее и потрясает его внутреннее существо всеми страхами, какие только вообразимы. Ибо в сравнении с этим пространством крохотный человек со всеми его претензиями обращается в пустую видимость, в побрякивание дурацкими бубенцами, в нечто смешное и позорное, — и если подобный глупец вдобавок осмеливается похваляться собою, он в полной мере заслуживает того, чтобы на него излились едкие насмешки сатирика. Но народ в этой стране, огромной, бескрайней, — бесконечно беззвучен и нем. Иные называют Гоголя родоначальником русского натурализма

(ср. «Историю мировой литературы» Пауля Виглера). До чего же пошло это слово! Гоголь, во всяком случае, умер смертью романтика — и еще во сто крат преумножил «романтическое»: он сделался христианином и сжег рукопись второго тома романа «Мертвые души». Он нашел ту точку, в которой аллегория обращается в символ, а из смерти возникает новая жизнь. Он чуял близость этой точки. А для мира он — вследствие того — погиб.

Тургенев предпочитал избегать поисков этой точки. Выдающийся, чрезвычайно острый ум. Германия стала для него второй родиной, впрочем, после 1870 года также и Франция. Тургенев — совершеннейший западный европеец. Достоевский ему советовал взять подзорную трубу и смотреть в нее на Россию из Баден-Бадена, — не в последнюю очередь намек относился к тургеневскому интеллектуализму, к его гибкому, отшлифованному, западноевропейскому рассудку, который мешал ему понять русский ум. Тургенев много сочувствовал своему народу. Сочувствие, как известно, ни к чему не обязывает. Он — скептик. Жизнь для него — клубы дыма, колеблемые ветром то в одну, то в другую сторону. Он создал слово «нигилизм». В литературной обработке он велик, однако он лишен сердечного жара. Или, быть может, его высокое искусство стояло, как стена, между ним и его собственной душой? Во всяком случае, никак не скажешь, что Тургенев создал образы, которые бы, подобно солнечному свету, лучились и жили дальше из себя самих.

Позволю себе небольшое отступление:

Когда Будда был отроком, он должен был обучаться в школе чтению и письму. Ему ничего не давалось. Нетерпеливый учитель не знал, что ему дальше делать с таким тупицей. Будда удалился в одиночество, в леса. Через годы он опять предстал перед учителем: «Можно я покажу, чему я научился?» — Учитель смеется: «Хорошо, покажи, что ты умеешь». Будда выводит на стене первую букву — и стена расступается. Это значит: он нашел ту точку, исходя из которой можно повернуть мир.

Ради одной-единственной этой точки (и разве ее именование имеет значение? скажем ли мы: «хаос», «смерть» или «воскресение», — всё одно) борется гигант Толстой, подобно тому как патриарх Иаков боролся с ангелом: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Внутренняя работа Толстого состоит в том, чтобы упорядочить свою любовь, — и тем самым обрести силы, потребные для того, чтобы сносить жизнь.

Эту единственную точку, эту жемчужину, за какую отдашь любые, самые несметные сокровища, — ее и нашел Достоевский.

Быть может, тогда, когда стоял на эшафоте, приговоренный к смерти из-за ничтожного политического проступка, и в последнюю минуту был (как легко об этом обычно упоминают!) «помилован» для десяти лет принудительных работ в Сибири. Или, возможно, в течение тех сибирских лет, будучи узником. Или во время своих эпилептических припадков — не забудем: в народе об эпилептике говорят, что он одержим «святой болезнью». *Morbussacer...* Да и кому дано знать, какой именно час его «убил». Ведь именно о том — и ни о чем ином — идет речь: о смерти, то есть о том, чтобы она утратила свой ужас. Тогда человек становится свободен. Ему уже не нужна так называемая жизнь. Он уже обрел свою собственную, ему полагающуюся смерть, обрел прежде, чем умер. Недостает только того, чтобы люди прибили его к кресту. Брандес пишет Ницше о Достоевском: «...эпилептический гений, сама внешность которого уже говорит о неисчерпаемом потоке кротости, переполнявшем его душу, о приливах граничащей с безумием пронизательности, всходившей ему в голову».

И есть еще третий, кто тоже должен быть понят исходя из этой центральной проблемы. В Германии он известен слишком мало. Это Антон Чехов, которого многие принимают за юмориста и сатирика. Мне малопонятно, отчего немцы предпочитают вместо него читать Максима Горького или весьма сомнительного Арцыбашева.

Общим для всех троих — Толстого, Достоевского и Чехова — является одно: они помещают свои полнокровные образы людей посреди действительной жизни, дают им встать во весь рост, а вслед затем показывают их крах. Лишь Толстой предпринимает попытки спасти веру в возможность естественной жизни и спасает того или другого героя от катастрофы (например, своего Левина в «Анне Карениной»). У Достоевского всё действие, подобно бушующему пламени, стремится к одной цели: потерпеть крушение ради того, чтобы воскреснуть. Достаточно вспомнить Раскольников, который на площади опускается на колени перед народом, или Митю Карамазова, или Идиота и безумный конец посвященного ему романа. Нелепо утверждать, будто Достоевский изображал исключительно больных людей. Старец Зосима, Алеша Карамазов, идиот князь Мышкин — образы, далеко выходящие за рамки национально-своеобразного, русского. Это образы, светящиеся таинственным внутренним свечением; это — зрящие. В круг исходящего от них света вовлекаются — и благодаря тому открываются — другие люди, чей внутренний

мрак выглядит еще более густым в сравнении с теми, с их светом, но в то же время становится видна скрытая, хрупкая красота их душ. Пусть кто-то, пожимая плечами, возразит, что истинное искусство не имеет ничего общего с религией, — однако подобный аргумент не более чем банален и пошл. В конце концов, именно сакральное искусство оказалось способным пережить века. Истинная жизнь начинается там, где человек не просто испытывает сомнения в так называемой жизни, но и отчаивается в ней. И разве не ведал о том Гёте! Разве кому-то придет в голову утверждать, что песня парок в «Ифигении» — не искусство? Да, в ней — отпадение от веры. И, тем не менее, — в ней религия.

Также Толстого обычно пытаются разрубить на две части, как гордиев узел. Одно дело (утверждают при том) — Толстой как величайший эпик, какого имела Европа во все времена после Гомера, Толстой, написавший «Войну и мир» или «Анну Каренину»; другое дело — упрямый дурак, старик Толстой, занудный ханжа, занятый *par excellence* исправлением мира. Однако ни «Война и мир», ни «Анна Каренина» не были бы написаны, если бы жизнь Толстого не завершилась в 1910 году его «бегством», то есть отказом от так называемой жизни — во имя жизни, ощущаемой им как истинная. Когда восхитительная кобыла Фру-Фру, необычайно чуткое животное, во время скачки падает под графом Вронским — и когда Анна Каренина, его возлюбленная, дивное подобие погибшей кобылы, изничтожается колесами поезда, — мы слышим толстовское: «Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» (ср. Мережковский «Л. Толстой и Достоевский»). Толстой стократно переживает то самое, что Достоевский уже стократно пережил: отпадение от Бога, то есть стократную смерть еще до смерти. Оттого оба они и являются такими гигантами.

А Чехов? Какое воскресение сулил он? Он указывал пути в великое молчание. Человеку свойственно биться не находя выхода, подобно мухе, попавшей в паутину, то есть вечно раздваиваться между желанием предаться хаотическому, беспорядочному — и повелительной необходимостью, заставляющей его подчиняться неким смехотворным формам быта. Жадное стремление к хаотическому бытию, к вечному, пускай бесцельному движению повелевает человеком не менее, чем необходимость привести в состояние покоя все эти внутренние порывы. Согласно Чехову, истинно творческий дух проявляет себя в отказе от всего, что имеет временное достоинство или смысл. Ничего не следует человеку звать своим, если он желает это удержать; и новая жизнь загорается в жаре и пламени жестоко заостренных контрастов.

Человеку ничего не следует домогаться, и если он хоть раз поддастся искушению и удовлетворил свое вожеление — тогда он погиб безвозвратно.

И что же дальше? Остальное — молчание. Великое, потрясающее молчание в бескрайнем пространстве, которое, превышая огромностью даже русские степи, простирается в Космос.

